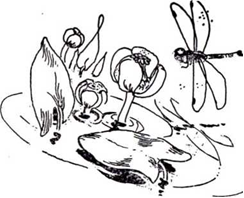
**Фролова Майя**

**Лесное озеро**





Любовь — мне говорить об этом грустно.

Законная властительница муз.

Не меряно твое земное русло.

Не застрахован твой бесценный груз. И ты, нередко перепутав тропы, В неравной задыхаешься борьбе, Покуда мудрость и житейский опыт на помощь пробиваются к тебе.

В. Сергеев

День как день. Пришла из школы, разогревать приготовленный мамой обед не стала, поддела котлету вилкой, сжевала, глотнула компоту из кувшина. Ну, с этим покончено.

Стянула форму, повесила в шкаф, надела спортивные штаны, мужскую рубаху балахоном, подвернула рукава. Вздохнула: в десятом классе, в третьей четверти, главное уроки. Да и не может она по-другому, привыкла учиться всерьез. Разложила тетради, учебники. Все по порядку, но расписанию, не выбирать, что нравится больше, дается лег че. Добросовестно тянуть лямку до конца. Но ведь после этого конца — начало: снова экзамены, учебники.

Мама раньше иногда говорила: «Невеселая у тебя Люсенька, юность, за столом сиднем сидишь, скоро к столу прирастешь». Теперь мама не позволяет себе таких вздохов, у нее теперь одно: давай, давай, выходишь на прямую, до финиша считанные денечки. А потом...

Что — потом? Полная неизвестность. Обязанность быть отличницей заслонила все, сквозь частокол пятерок ничего в будущем для себя не разглядела. Куда поступать? Что выбрать? Пед, мед, инъяз?

Мама успокаивала: куда ни пойдешь — будешь добросовестно трудиться, эта главная черта есть, утвердилась в характере, она и любовь к делу пробудит, и уважение людей.

Ну, посмотрим...

Когда решила задачу, все мысли и сомнения отхлынули. Другой, может, за десять минут, играючи, решит, были такие в классе. А ей иной раз и двух часов мало. Но все знали, что Люська решит обязательно. Начнут скоро трезвонить, по телефону в свои тетради решение переписывать. Однако она понимала: в технический вуз лучше не соваться. Выработала волю, характер над этими задачками — и то спасибо.

Сегодня задача решалась полегче, немецкий при ее памяти — одно удовольствие, успевала и просто так пару страниц прочитать, без задания, выписывая каждое незнакомое слово.

Русская литература — это вообще для души. Что должны были пройти за год, прочитала заранее, на летних каникулах, переживала, иной раз и плакала. Когда на уроке начинали разбирать «по образам», то, прежнее, впечатление берегла нерушимо. Ей хотелось постигнуть, за что писателей девятнадцатого века называют великими, и она постигала, но таила в себе, потому что разделить было не с кем.

Болело — нет подруги, нет верного человека. В классе нужна многим для задачек, переводов по немецкому. Ее тоска, одиночество? Кому это интересно? Да и о чем, собственно, тосковать?

Кем быть? Им пытались помочь, разобраться, определиться. Вот и сегодня во Дворце культуры вечер. За столиком, у эстрады, серьезные дяди и тети. Они пришли после работы поучить десятиклассников уму-разуму. И что хорошо — будет дискотека.

Скорее бы закончилась официальная часть, потеплел, сузился от погашенных лампочек зал, высветился экран, завертелся зеркальный шарик, забегали по разноцветным стенам зайчики, появились на эстраде проворные мальчики — подручные дискжокея — в белых манишках с черными бабочками, отгородили музыкой от всех сложностей. Нужно же людям немножко расслабиться!

Дяди-тети рассказывали неожиданно увлекательно, мальчишки что-то там переспрашивали, многие собирались поступать в местное училище консервного комбината на отделение холодильных установок — современно, перспективно.

Интересно было слушать и толстощекую тетю-булку с хлебозавода. А потом вдруг из президиума стали настойчиво приглашать выступить кого-нибудь из учащихся, «поделиться своими мечтами, планами на будущее».

Вытолкнули, конечно, ее, «правильную Люську», и она бодро говорила о том, что мечтает поступить на философский факультет столичного университета (никогда об этом не думала, но кому здесь нужна растерянность перед будущим, ведь все дороги открыты — выбирай, а большому кораблю большое плаванье, как говорила о ней классный руководитель).

Десятиклассники из соседней школы выдвинули своего выступающего — тонкого высокого мальчишку... Он развел руками, улыбнулся и коротко сказал:

— А я буду выращивать булки с маслом!

Люська смеялась со всеми, но было стыдно: щелкнул ее мальчишка по задранному носу!

Им дали возможность и музыку вдоволь послушать, и потанцевать. И ее вдруг пригласил этот мальчишка. Она назвала его так по-школьному: не хотелось отвыкать от этого привычного слова. Хитрые зайчики вертелись, заглядывали в глаза, менялось лицо мальчишки, попадая в розовые, зеленые, синие струи света, и она не могла уловить его черты, пока он не улыбнулся. Главное в его лице — улыбка.

После первого танца, не отпуская ее руки, мальчишка повел ее к столику, но тут же снова притянул к себе, потому что из цветных глубин возникла новая мелодия. Казалось — бесконечная, но вдруг лукавые зайчики махнули прощально хвостиками, нырнули в зеркальный шар. Он тяжело остановился. Истаяла светомузыка...

Значит, так и бывает — вдруг, необъяснимо? Мечталось, думалось, ожидалось — пришло... Ерошка, дорожка, лукошко... Разве такие имена бывают?

Бывают — у древних дедов в лаптях, борода веником, кряхтят на печи. А рядом с нею идет длинноногий мальчишка, джинсики общелкивают туго, стандартная курточка |«ни жарко, ни холодно», вязаная шапочка на макушке. Как |все... Но — улыбка. «Буду выращивать булки с маслом...» |И я буду. С тобой. Что угодно, куда угодно — с тобой.

— Ерошка?— не верила она.— Почему Ерошка?

— Потому что — Ерофей. Дед у меня Ерофей. Кавалер Георгиевский, с усами, как полагается. Может, гены и мою грудь для орденов наметили, а? — Он выпячивает грудь, важно надувает щеки.— А хочешь, зови меня любым именем. Какое больше нравится. Тебе — можно.

«Тебе — можно,— заныло сладко.— Тебе...»

— Мне Ерошка нравится. Е-рош-ка!

— В нашей школе привыкли. Да и чего особенного? Сей час ведь стиль «ретро», имена старинные в моде. А как тебя зовут? Не знаю до сих пор. Не годится!

Ну почему у нее такое обыкновенное имя? Говорили же мама, что хотела назвать Дашенькой или Мирфинькой. Ваш было бы кстати сейчас, к Ерофею-то! Из всех новорожденных в палате она была самая толстенькая, кургузенькая. «Настоящая Марфинька!» — вспоминает мама.

Отец с бабушкой не позволили, им Людмилу подавай. Вот и стала она Люськой. Красоты никакой. Людмилой-то никто не зовет.

Ерошке продекламировала по слогам:

— Люд-ми-ла!

А он подхватил торжественно:

— С детства мечтал, когда мне «Руслана и Людмилу» вслух прочитали, свою Людмилу встретить. Готов твое имя на небе звездами написать.

Улыбка — ей.

— Так я же — Люська!

— А я — Ерошка!

Ха-ха-ха! Ну и родители!

Запрокинули головы, смеются. Друг на друга взглянут — еще смешнее. И — бегом. Вниз, по крутой улице. На бегу руку ее поймал. Выдернула — не мешай простору и свободе. Это же не рука, это — крылья, подхватят, упасть не дадут, впервые их за спиной ощутила.

— Что так поздно? — проворчала мама. — Ужин на столе. — Ушла в спальню.

Какой ужин?

Вышла в лоджию, будто в звездное небо шагнула. Здорово все же жить на девятом этаже. Пока таких башен долговязых в городе немного, куда ни глянешь — простор. А когда летом лежишь на раскладушке — плывешь между звездами, земное все — далеко, на земле.

Какими же звездами Ерошка ее имя на небе написать собирается? Самыми яркими, самыми заметными, чтоб на весь мир было видно, на всю вселенную? Или вон теми, мелкой пылью, чтоб только они вдвоем знали, он и она, Ерошка и Люська.

Мама — сзади, плед наброшен на ночную рубашку,

— Холодно тут, не лето. Иди в дом.

В глаза заглянула — ничего больше не сказала. Ушла.

В спальне под одеяло юркнула, глаза в потолок, вздохнула:

— А Люська-то наша влюбилась, отец.

— Чего? Экзамены на носу, на аттестат.

— «На аттестат...» Грозен больно. А оно явилось — не спросилось.

— Мама, можно я буду спать в лоджии?

— Мешок спальный купить, что ли? Говорю — холодно. Или печет, остудить требуется?

— Репин всю зиму спал — окна настежь. И дети его, и жена. Не в Крыму — в Финляндии.

— Ну, великим закон не писан. Надеюсь, рыцарь на девятый этаж по веревке не полезет?

— Ну что ты, мама?

— Достань перинку бабкину из кладовки. Голову платком повяжи. Отцу придется сказать, что врачи велели на свежем воздухе спать. А то задаст он нам!

Раскладушка огрузла. Бабкина перина охватила теп-лом. Сверху мама старым полушубком — тоже бабкино наследство — придавила, пуховый платок — валиком во-круг головы. Но мысли на свободе. Они уже там, за самой далекой звездой.

«Я напишу твое имя звездами на небе...»

Треп, конечно, сейчас звездам не дают женских имен, их просто нумеруют. Нет прежней жизни. Нет прежней Люськи. Была правильная, стала влюбленная. И ничего больше нет— есть «от» и «до». От разлуки до встречи. От встречи до разлуки.

Ушла с последнего урока (для нее — небывалое). У школьной калитки — он. Бродили по улицам, сидели в скверах, выкладывали друг другу о себе все, торопились, будто встреча последняя, завтрашнего дня не будет. Хлынуло накопленное в одиночестве — ему.

Солнце качалось на голых ветках в парке, тень-путаница от них на аллее, ноги — как но текучему зыбкому ручью. Смоет, унесет. Кружится голова.

Садятся на скамейку — солнечный ручей мимо.

Ерошка достает из сумки толстенную старинную книгу — Шекспир.

— У знакомых уволок. Тебе показать.

Бережно перекладывает Люська плотные глянцевые страницы. Вот Офелия утонувшая, текущий в вечность поток влечет волосы, платье, руки, смывает девичий венок с головы. К этой иллюстрации возвращаются несколько раз.

— И что носятся с этим Гамлетом? — говорит Ерошка. — Такая девушка из-за него утонула.

Спохватываются, когда часы на ратуше бьет шесть.

В классе узнали: Люська влюбилась. Конечно, кто-то их видел в парке. А она и не скрывала. Задачку сама из чужой тетрадки переписывала. Слова немецкие путала — улыбалась. Что ей говорили, не слышала. Ждала, когда все это кончится: уроки, взгляды, реплики, школьная суета. Еле дожила до последнего урока.

Староста удержать хотела, говорила о каком-то собрании. Не вникая, отодвинула ее и ушла: Ерошка ждет у калитки.

Те же улицы, те же скамейки в скверах, разговоры взахлеб. Ерошкина улыбка. Такая — только у него. Пыталась дома лицо вспомнить — видела улыбку. Будто фонарик за матовым стеклом. Светит, влечет. Тянешься к этому светлячку, идешь, идешь... Что под ногами, что вокруг — не видишь. На добрый свет идти не страшно — не обманет...

— Людмила! Что же это такое, а? — Мама высоко поднимает книгу. — Четвертая четверть началась, а ты «Бурю» Эренбурга ухватила! Такие ли теперь книжки читать?

— Понимаешь, мама, Мадо в зеленом платье, волосы как солнце — и вдруг какая-то Валя, какое-то «ситцевое счастье»! А любовь, мама, любовь? Разве она не единожды на всю жизнь?

—Ох, Люська! Плакала наша медаль...



Вечером, когда и отец за столом, серьезный разговор:

— Людмила! (Редко ее так зовут, тем красноречивее.) Мобилизуйся! Десять лет тянула — два месяца осталось. Уважать тебя буду — смоги!

Это — отец. А мама дипломатичней, по-женски:

— Ему ведь тоже хороший аттестат нужен, и о нем подумай.

— Как зовут? — отец говорит в тарелку, не поднимает глаз.

— Ерошка.

— Сама придумала, или действительно имя такое вывернули?

— Действительно. Дед — Ерофей. С усами.

— А сам-то он тоже с усами или молоко не обсохло?

— Имя как имя, — мама на выручку. — Значит, хорошим человеком был дед. Привела бы, Люсенька, показала, познакомила.

— Не обязательно. Дым еще. Развеется...

— Не дым, — возражает Люська отцу. — На всю жизнь.

— Договорились уже? — отец взглянул прямо, но нс грозно. Испытывает.

— Зачем договариваться? Мы и так знаем!

— Они — не мы, — снова мама смягчает. — У них по-другому, акселерация.

— Ранние... огурчики. Да я не об этом. Как хотят. Ты мне, Людмила, слово дай: что нужно для школы — делать по совести. Как и раньше. В остальном я не властен, сама разбирайся. Даешь?

— Даю...

Деваться некуда.

Теперь после уроков — домой. Ерошка по-прежнему у калитки ждет для провожанья (всего полчасика), дорога нашлась по окружности, длинная — на один миг.

Дома — за стол: учить, учить, повторять но билетам. Из лоджии пришлось эвакуироваться, дня не хватало. В голове — звон: Ёрош-ка-кар-тош-ка-Ерош-ка-до-рож ка... Ладош км к ушам плотнее, заглушить, отгородиться, вникнуть в нужное.

С Ерошкой — по субботам, как и обещала родителям.

Ерошка ныл, сердился, говорил, что все равно не может по вечерам уроки учить, крутился вокруг ее Дома.

— Ты просто железобетонная конструкция! Я не могу без тебя, мне плохо!

— Ия не могу, и мне плохо, Ерошка. Переборем. Нужно так. Мы же не слабые, мы — сильные.

— Я — слабый.

— Нет, ты тоже сильный, мы — одинаковые, мы — одно.

Тик-так, тик-так, тик-так... Часы, дни, недели. Последние дни в школе, экзамены. Напряжение, ожидание, надежда. Пять, пять, пять...

Даже провожаний не было. Только в дни экзаменов несколько часов вместе. Идти, куда ноги несут.

А они несли за город — от духоты, суеты, взглядов. Город снижался постепенно, окраины расстилались, как подол платья, сливались с влажным, в желтых лютиках, лугом, с коричневой торфяной дорогой. Шлепают босиком, пружинят ноги, в теплом мареве играют бабочки.

На взгорке — как метла, орешник топырится важно: он здесь господин, ведь деревья давно вырублены. По такому лесу бродить — только лицо кустами исхлещет. Обуваться не хочется, должно же накопленное электричество хоть изредка через голые пятки в землю уходить.

А дорога втягивает в настоящий лес. Вот и ель, высокая, мрачная, одиноко ей здесь. И непривычно тонкоствольные дубы. Кучей выросли в тесноте. Простора много, да не разбежишься. А вот уже и сплошной стеной деревья, то ли грабы, то ли буки, пила еще не добралась сюда. Здесь ‘смирился орешник, притих, не растопыривает ветки. И полянки зеленые, и тропки заманивают: сюда, что вам исхоженная дорога?

Потерялся среди деревьев Ерошка. Ау! Ни шагов, ни голоса. Притаился, конечно, пугает. А вдруг и правда одну оставит? Бочком, бочком выскользнет: прощай, Люська, не увидишь меня больше.

Побежала, зацепилась, растянулась на сухих листьях. Нос, слезы — в землю. «Не поднимусь больше, пусть здесь все и кончится».

— Ты что, Люська? — тянет Ерошка за руку, поднимает. — Ударилась?

— Не бросай меня, слышишь? Никогда не бросай! Лучше убей сразу!

Рванула от него вверх по склону. Он — следом: объяснить— пошутил. На дорожку выскочил, за руку цапнул: стой, Люська!

А она палец к губам, глазами показывает: смотри.

Дорожка — никакая не дорожка, просто макушка вала, поросшая низкой, при самой земле, травой. Вал выпятился прямоугольником, склоны в деревьях, кустах, сквозь ветки вода просвечивает. Лесное озеро.

Люди о нем — знают? Да разве от них спрячешься рядом с городом? Но почему по склону к воде тропинки не про мяты? Может, все-таки забыли об этом озере? На пикники горожане ездят в лес по другую сторону города, ближе к горам.

Люська первая ступила на устланное листьями дно. Взвился от пальцев клубочек мути, по ногам побежали пузырьки воздуха, застыли светлыми точками на полосках.

Полого спускается дно, Люська рассматривает свое отражение: уголки косынки, подобравшей волосы, узкие, озябшие плечи. Спокойная чистая вода пропускает се и свой лес, руки разгребают ветки. Отраженные, они наполнили озеро зеленым светом.

Тихо плывет Люська.

Тихо входит следом, когда озеро снова сомкнуло гладь, Ерошка. Не вопит, не машет руками, чтоб показать, какой он храбрый. «Понял», — думает Люська.

Они плывут у равных берегов навстречу друг другу под тихими деревьями, в полумраке, а посредине — нетронутая солнечная тарелочка, яркая, слепящая.

Лежали рядышком на обогретой макушке вала, травяные трилистнички щекотали влажное тело, молчало благодарное за тишину лесное озеро.

Все — хорошо, все — на счастье. Это озеро... Может, его и не было раньше. Расступилась земля, это — вам.

— Ты нахлынула, как это озеро.

— Зачем так красиво?

— Как есть. Ты, Люська, — лесное озеро. Ты —это оно, оно — это ты...

Он сидит спиной к озеру, говорит, не поворачиваясь к ней. Казалось, слова слетают сверху, кружатся, как листья, она не только слышит — она видит их.

— Другие девчонки, как мотыльки: машут крылышками, показывают их старательно, притягивают красотой. Приблизишься, коснешься — а крылышки-то голенькие, облетела пыльца...

Слова над нею нз листьев в мотыльков превратились, трепыхаются в голубизне, не оторвешь глаз.

— И я хочу — красотой,— говорит Люська, а что-то кольнуло нестерпимо, будто травяные трилистнички стрелки выпустили. Значит, он замечает, что есть девчонки покрасивее ее. А она вот даже сказать не может, красивый он или нет. Разъединственный, па всю жизнь. Ерошка-картошка. Все решено. О чем говорить? С кем сравнивать?

Ерошка говорит, похоже, и себя убеждает:

Ты — неожиданность, как это озеро. Пока не разглядишь, так себе озерцо. А оно — лесное. Думаешь: все, дно, а из глубины — снова вершины. Тебя разглядеть нужно.

И вдруг нараспев: — «Может, этот лес — душа твоя, может, этот лес — любовь моя, может, в этот лес с тобой вдвоем мы отправимся, когда умрем».

— Стихи? Чьи? — Села. Лицо Ерошкино хочется увидеть, глаза.

Л он глаза к озеру, высматривает его сквозь ветки.

— Не знаю. Где-то слышал.

— Почему — «когда умрем»?

— Потому что наша любовь не кончится далеко за пределами жизни.

Вот и сказано заветное слово. А по спине снова колючки прогулялись. Ждала раньше: хоть и знаешь, веришь, а слова закрепляют, как гербовая печать на документе, но лучше бы Ерошка молчал.

А он снова:

— Никому про это озеро не рассказывай. Оно — наше.

Опять прошлепали босиком по торфяной дороге. Песни

пели, бегали друг за другом, разгоняя легкий вечерний туманец. Смел ветерок колючки со спины, домой счастливой пришла.

Родители — ни слова. Для них важнее всего растопыренная пятерня, которую впереди себя, как флаг, внесла в квартиру: пятерка!

На выпускном вечере — она и не она. Завели пружинку, крутится механизм по заданной программе. Желанная медаль получена. Родителям — грамота за правильное воспитание дочери. Учителям — слова благодарности. Всеобщие слезы. Танцы, пирожные. Переплетенные, шагающие но улицам шеренги, звон голосов между притворившихся глухими домов. Туфли на шпильках — в руках, из-под нарядных платьев — босые ноги. Традиционное шествие к рассвету, к солнцу.

Ерошка выхватил ее из шеренги, набросил па плечи пах пущий теплым молоком пиджак, шепнул:

— Утечь надо...

Весь вечер мгновения этого ждала: куда позовет, туда и пойдет за ним.

Поцеловал ее на узеньком проломленном мостике. Впер вые, будто полученные сегодня аттестаты давали и па это разрешение.

Прошагала мимо утомленная вечером «немка», делая вид, что на мостике никого нет. Она уже не властна над их взрослостью.

Проступает черным ребром в белесом рассвете дорога; как море, плещется луг в сером тумане. Темно и влажно в лесу.

Подобрала Люська длинное платье, связала концами на поясе. Что-то склизкое под ногой, то ли уж, то ли гнилая палка. Ой!

Над озером нет тумана, лес не пустил. Тяжело чернеет оно за деревьями, ждет светлого утра.

Не пожалел Ерошка новый пиджак, расстелил на знакомой травке, сели рядышком, охватил он Люську руками, греет, сам греется, целует лоб, щеки, глаза, губы. Она покорно подставляет лицо: ему хорошо — пусть целует, а она уснула бы сейчас, не отлепляясь от него. Слипаются глаза. Спать, спать, не просыпаться очень долго. Может быть, никогда...

Уснули, съежившись на пиджаке, уткнувшись друг в друга, проспали и восход солнца, и утреннюю суету леса. Чуткие друг к другу, глаза открыли одновременно и зажмурились: озеро выпяченной сердцевинной излучало солнце. Оно дробилось, проходя сквозь стволы и ветки, веселило и грело.

— Л солнце-то высоко! — испугалась Люська, а в мыслях: родители в тихой панике!

— Эх ты! — Ерошка угадал ее беспокойство, щелкнул по носу осторожно. — Сегодня нам никто не указ. Сегодня все наше.

Вскочил, расправил плечи, задрал голову.

— Э-эй! — голос взлетел ввысь и оттуда эхом на озс ро, на деревья, пресек на мгновение лесное шуршание, ши чий писк. — Здравствуй, озеро!

Люська взглянула на мятое платье:

— Как я только по городу пойду?

Принес в пригоршне воду, брызгал на платье, разглаживал руками подол, успокаивал: ничего, отвисится. Стоял перед нею на коленях, глядел снизу. Лицо серьезное, глаза пытливые.

— Знаешь, Люська, мы еще пожалеем об этой ночи.

— Почему? — удивилась, встревожилась.

— Вдруг такой никогда больше не будет у нас? А мы уснули, как дети.

Что-то скребется в нем недосказанное. Что? Ей-то ничего больше не нужно. Он — рядом, и так будет всегда.

Ухватила его за волосы, наверное, больно, потому что лицо его напряглось. Склонилась близко, глаза в глаза:

— Что с тобой, Ерошка? Что значит — не будет?

— Отпусти, Люська, больно,— поднялся, стал рядом, улыбнулся, успокаивая.

— Ну, Людмила, куда будем поступать?

Неизбежный разговор с родителями. Как обычно — за столом.

— Куда Ерошка, — вырвалось давно решенное.

Отец отложил вилку (мама и не начинала есть).

— Что, так серьезно? — Взгляд отца просто на атомы раздробляет, наизнанку выворачивает. А он куда же?

— В политех.

— Тебе же с математикой трудно.

— Мучилась десять лет — еще помучаюсь.

Мама молчит, общую позицию родителей выкладывал отец.

— Жаль. Хотелось, чтобы ты свои силы на столичных вершинах попробовала. Почему бы на МГУ не замахнуться? Ерофей пусть — за тобой. Или не дотянул до вершин?

Аттестат четыре и пять десятых. Он не может далеко ехать: у него еще сестренка, отца нет. Маме одной трудно Политех — рядом, несколько часов на электричке.

— И все же попыталась бы, а, Люсенька? Обидно как то, такие способности,— жалостливо начала мама.— Кому же тогда в столичном вузе учиться, как не тебе? Единственный такой, ломоносовский. Неизвестно еще, как там у тебя дальше с Ерошкой сложится.

— Все известно! Я его всю жизнь любить буду, всегда! Не надейтесь!

— Да что ты, дурочка, намыто зачем? Лишь бы ты была I счастлива.— А в глазах у мамы слезы, И отец завтракать I не стал, на работу ушел.

Тяжело Люське, понимает: чего-то вымечтанного родителей лишает. Но не может по-другому, не получится без I Ерошки.

Ерошка теперь запросто домой к ной приходит, все .же I приоткрыл аттестат дверцу в самостоятельность. Усядутся в лоджии на разостланном бабушкином кожухе, вместе в праздничном небе парят.

Мама каждый день вкусненькое печет, старается напитать худосочных абитуриентов.

Это плаванье в безмятежности недолгое: Люське-то можно с медалью роскошествовать, а Ерошке снова над учебниками гнуться.

И неожиданно:

— А почему тебе и в самом деле не попробовать в МГУ? Все же медаль,— говорит Ерошка.— И нам всем будет кем гордиться.— Улыбка его — как заслонка.

Даже если испытывает, не должен такого предлагать, разлучаться им невозможно, разве ом не понимает?

Спокойно, спокойно, Люська! Поиграй и ты чуток, испытай своего Ерошеньку.

— Раз уж вы все настаиваете, можно.

Сердце остекленело от обиды, от каждого удара пион в голове.

Не слышит Ерошка. И лица ее не видит. Взгляд в небо, печенюшки в рот кидает, жует. Вдруг повернулся к пей Взгляд — в упор, слова — без улыбки:

—Кончилось детство, Люсенька. Теперь т е мееры I, на нею жизнь решать. Так что дерзай!

По лицу видно — не шутит. Выходит, все, что раньше —не всерьез?

— Не отпускай меня, Ерошка! — по-прежнему старается она шутить, а глаза вверх, чтобы не вылились слезы.— Вдруг не вернусь? Как будешь без меня?

— Почему — без тебя? Ты всегда со мной. Зачем тебе политех? Каждый должен быть самим собой. Задохнешься в математике, в чертежах, не твое это дело. И меня упрекать станешь, чего доброго — возненавидишь. Не хочу твоей жертвы, не приму. Такой жертвой любовь убить можно.

Что он говорит? Почему все так повернул? Какая жертва? Это — потребность, это — жизнь. Оторваться — лучше смерть.

Но что-то уже возникло, не позволяющее прокричать это вслух. Беззаботное доверие оттолкнулось розовыми пятками и умчалось в пространство.

— Хорошо, я попробую, — обреченно сказала Люська.— Сегодня же отошлю документы в Москву.

Опять завели пружинку в ней, опять заработал механизм по заданной программе.

Ляпнули по пакету сургучной палочкой, бацнули штемпелем — прощай, Ерошка!

Выхватила у оторопевшей тетки пакет, бросила рубль на столик — за услуги. Извините!

Помчалась к маме на работу, застыла на пороге, пакет у груди, пальцы в сургуче.

— Не могу...

Десятилетние усилия не пропали — первой была пятерка, в институт зачислили. Хотела за Ерошку «поболеть», но мама проявила не свойственную ей строгость: отдых необходим, поступить — еще не все, в таком вузе учиться – не в школе. За руку домой увезла.

Сидит Люська у теплой грядки, комочки земли перетрет вялыми пальцами. Мама носится по саду, там копнет, там травку выдернет. Яблоко скороспелое выбрала, кинула Люське в подол — насыщайся витаминами. Подол у Люськи — как фруктовая корзина, и смородина там, и крыжовник, и вишни. Всего умудрилась мама натыкать на маленьком садовом участке. Любит свой сад, гордится, что сами вырастили.

Впервые здесь услышала Люська мамины молодые песни. И она любила в саду работать, и она радовалась ему. Раньше. А сейчас рукой не шевельнешь. Две недели уже Ерошка экзамены сдает — и ни словечка.

Один раз все же у мамы выпросилась, поехала — лишней была там среди всеобщей озабоченности. Легко принятая медалистка меж страдающих абитуриентов. И Ерошке сейчас — чужая, ненужная, помеха.

За час до экзамена примчалась в общежитие вдохновить, подбодрить. А он улыбнулся растерянно, махнул — погоди! — и снова нос в учебник, чего-то не дочитал.

И другие нависли над страничкой, голова к голове, среди них — девичья, черную косу откинула, кончик зацепился за светлые вихры на Ерошкиной шее. Он не заметил — Люська заметила.

И потом, в коридоре института, все кучей перед дверью, она одна у окошка в стороне.

Вышел Ерошка распаленный, с досадой бросил: «Четверка!» Будто она виновата, что не пять,— отвлекла, помешала.

Сколько передумалось за эти дни! Поняла, что любовь — не только возникшие крылышки за спиной. Это — боль: как бы ни стремился, невозможно слиться в одно с самым нужным тебе человеком, любимым. У него — свое, и душа, и мысли. Принимай, применяйся, прилаживайся, а не сможешь — прощайся!

— А цветики-то твои не взошли, Люсенька!

Зря, мама, напоминаешь, из-за этой заветной грядочки и в сад не хочется ходить.

Ерошка хвалился ее имя звездами на небе написать (как далеко от политеха до звезд!), а она решила их инициалы астрами на грядке вырастить. И не загадывала, уверена была, что взойдут, расцветут радостно. А они не взошли, хоть раньше всегда всходили. Случайность или предостережение?

Краешек ее «Л», хвостик его «Е», между ними темная пустота, а должны были переплестись на грядке, как и в жизни.

— Да ты не расстраивайся, можно рассадой подсадить. — В мамином голосе жалость, сочувствие.

— Пусть растут, как взошли. Какое это имеет значение!

— Не имеет — так не страдай! Вздохни полной грудью, улыбнись, погляди, красота какая вокруг!

Люська молча пересыпает истертую в пыль землю.

— Придумала ты все, доченька, поверь моему опыту. А если он — не тот?

— Не надо, мамочка. Поздно.

Поступил Ерошка, приехал — тяжких сомнений, черных дней как не бывало. Суета сборов — костюмов спортивных, кед не достанешь, всем вдруг понадобились; пару платьев надо сшить для другой, студенческой жизни. Но это все мимоходом, не главное. Главное — шлепают босые ноги по торфяной луговой дорожке, смеется довольный Ерошка — по ступил, поступил! Смеется счастливая Люська — теперь уж вместе, теперь — навсегда!

Не таится больше озеро в лесной глухомани, радуется их счастливым голосам, веселой возне.

Проститься не со всеми одноклассниками успели, а к озеру прибежали, букетик синих и белых астр положили па мелкие трилистнички на взгорке. Подсадила все же мама тайком от дочки рассаду, переплелись инициалы: белов «Л», синее, с солнечными, как улыбка Ерошки, сердцевинками «Е». Показала Ерошке, когда за яблоками пришли в сад (про рассаду — ни слова!). Это он придумал — озеру

принести, чтоб помнило их. Любит он покрасоваться, слова необыкновенные говорить:

— Лесное озеро я с собой увожу: тебя, Люсенька...

Лона бы молча перед озером, на том месте, где они так

доверчиво уснули, постояла: не нуждается то, что между ними, в словах. Но раз Ерошке нравится — пусть. Он как свет из тьмы ударил, ослепил, притянул, ничего, кроме этого света, не видишь, все—от имени до улыбки — необычное...

А в нем — суета, забота о себе, как тогда, в институте. Может, нельзя по-другому во взрослой жизни?

О будущем они не говорили раньше: быть рядом — и все, остальное неважно. «Твой Ерошка весь еще в будущем»,— предостерегала мама. Плохо это или хорошо? Знает она Ерошку или нет? Какой он?

— А если бы мы не поступили вместе, Ерошка? Что тогда?

В себе Люська не сомневается: не поступи он — и она документы забрала бы, работали бы вместе на стройке. В армию его — перетерпеть, это — для всех. Предложил бы: оставайся здесь моей женой — согласилась бы. Почему же он так долго раздумывает?

— Если бы да кабы... — отвечает он беспечно, за улыбку не заглянешь — слепит.— Не поступили бы — тогда бы и решили. А сейчас — радуйся, Люська, радуйся!

Он хватает ее за руку, тянет. Бегут, спотыкаясь на спрятанных в траве кочках, падают.

Тихо, будто и нет рядом никого, и небо тоже слепит улыбкой. Где же те звезды, которыми имя ее должно быть написано?

Зажмурься, Люська, успокойся, дались тебе звезды: слова выпорхнули беспечной птичкой, а ты уцепилась за них, хочешь гвоздями к небу приколотить. Разве плохо тебе?

Ерошка-то рядом.

Сидит Люська на знакомом пригорочке, в плащ кутается. Беззащитно просвечивает сквозь голые ветки лесное озеро. Ветер согнал к берегам упавшую листву, утратит она скоро свою осеннюю пестроту, тяжело опустится на дно. И если летом войти в воду, выскочат из рыхлого слоя веселые пузырьки, помчатся к солнцу, самые маленькие уцепятся за волоски на ногах, и станут ноги похожи на кактусы.

Нет, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Не пережить того, что было, не повторить. Прежде ее удивляло это изречение. Пришло время понять его. И если это даже не река, а неподвижное лесное озеро, которое питается незаметным родничком, не обновляясь, все равно не повторить мгновения. Вода не течет — время течет, п сегодня ты уже не тот, что вчера. Не вчера, два месяца назад, но два месяца — как два года.

Родители требовали объяснить, когда явилась домой и решительно объявила: в институт больше не пойду.

И себе-то объяснить невозможно. Сделала, как смогла, по-другому не получилось.

— Что с тобой, Ерошка?

— Понимаешь, Люська, я и сам не знаю.

— Бабочки заманили? А как же лесное озеро?

— Лесное озеро — со мной. Бабочки — над мим. Повьются и исчезнут.— Ерошка заслонялся аллегориями, улыбкой, нежностью.

Ей нужна была ясность.

Без него — как? Без него — нельзя.

Уходил, ускользал. Его влекло другое, отъединяло, не удержать.

Одноклассница, которую разыскала в общежитии мединститута (ведь она своя, из детства), жестко оборвала:

— К нему и раньше девочки льнули, как пчелы к меду. Ты просто не хотела видеть.

«Как пчелы к меду», «Как мухи к варенью», «Как бабочки над озером...» — бились в голове слова. А он? Что же он?

Из дому уезжали в переполненном утреннем вагоне. Ерошка занавесил окно плащом, Чтоб не дуло, целовал ее, отгородив в уголке спиной от всех. Взяли вещи, поезд укатил, и плащ так и остался на окне. Было обидно, что Ерошка расстроился из-за плаща. Конечно, жалко, но разве без него не обойтись?

Покупали кастрюльки и сковородки, ходили из магазина в магазин, разглядывая мелочи, которые могли бы пригодиться для их жизни.

Иллюзия испарилась у дверей общежития — Ерошку поселили в другом здании. И началась его, без нее, жизнь, которая зародилась еще на вступительных экзаменах. Он в группе — свой, успел со многими подружиться.

Сразу сел среди знакомых ребят, где ей не было места. Она примостилась в другом ряду. Слышала, про нее сказал: «Моя одноклассница».

Не жизнь — терзанье изо дня в день. Встречались вечером, гуляли по парку, ходили в кино. Все казалось прежним. Утром же, в институте,— «моя одноклассница».

Не спрашивая, не упрекая, делала вид, что все в порядке, но не слышала ни одного слова на лекциях, не могла подготовиться ни к одному семинару. Ерошка — будто не замечает.

Взяла себя в руки, просидела несколько вечеров в читалке, с блеском подтвердила на семинаре свои пятерки — и опять пошло-поехало в разные стороны...

В чужие общежития пускали неохотно, но в Ерошкнном ее уже знали, проходила без объяснений, каким-то образом утвердив в сердце вахтерши свое на это право.

Его заставала не всегда, и рад он ей был не всегда. Ушел в свои дела, о которых подробно не рассказывал.

Мучилась этим, но какое-то чутье, накопленный задолго до нее женский опыт подсказывал, что необходима Ерошке такая независимость. Ей — не нужна, быть с ним та кая же потребность, как дышать. Ему нужна, и потребности быть постоянно с нею у него нет. Значит, и любви нет? У нее — есть, у него — нет?

Но он ищет ее, когда ей удается сдержать себя, не мчаться к нему и день, и другой. И в студкоме она, и в самодеятельности. Сто веревочек напридумывала, чтоб привязать себя вечерами к обязательному делу.

Только бы не думать о нем ежеминутно, не ждать. Но не может она, не получается.

Им по-прежнему хорошо вдвоем, если бы не ее тревога, ощущение — ускользает, не удержать.

Пришла в общежитие — нет Ерошки. Его сосед предложил ей стул — обождите, скоро придет.

Взгляд сразу уцепился в новое над Ерошкиной кроватью: на картонке — то ли кусочек вечернего моря, дальние огоньки на рейде, то ли небо с пробудившимися звездами, увиденное сквозь скалы.

— Окошко в пространство,— объясняет ей парень. В его голосе жалость к ней. Почему? — Человеку свойственно стремиться в «нечто», человек жаден, ему мало того, что рядом, в повседневности...

— Кто рисовал?

— Он...

Из этого «окошка в пространство» потянуло сквозняком. Ерошка чего-то хотел, тянулся в какой-то свой простор. Даже не подозревала, что он рисует.

Ждать больше не стала, ушла. И на лекции на следующий день не явилась, впервые преодолела постоянную от него зависимость, смогла не пойти, не увидеть.

— Что с тобой, Люська?

— Не знаю. Не могу так.

— Как?

— С тобой — и без тебя.

— Но ведь мы рядом...

Рядом — врозь. Слова — зачем? Он слишком любит их. Они, как и улыбка,— заслонка. А за ними — «окошко в пространство», о котором ни слова.

Она пыталась понять: что, собственно, изменилось?

Она — для него, он — для нее, вместе учиться. Что угодно, лишь бы вместе. Так мечталось с того самого первого вечера. Потом уже была уверена: иного не дано. Ни ей, ни ему.

— Нельзя спокойно, без надрыва? — говорит он, будто читая ее мысли,— Каждый может то, что может... Ты нахлынула на меня, лесное озеро. Все воспринимал, как сквозь пленку. Когда-нибудь открывала глаза под водой, смотрела вверх? Солнце — зеленый кругляшок без лучей.

— Солнце — без лучей? Из-за меня?

— Не обижайся. Слова точные подобрать трудно. Нужно отойти, оглядеться, как поэты рекомендуют: «Большое видится на расстоянии...»

Она пятится, шуршат камешки под ногами.

— Куда ты, Люська?

— Отхожу на расстояние.

— Нельзя же так буквально.

— А как?

Утром, в институте, все то же: «Приветик, Люська!», «Приветик, Ерошка!», «Как дела?», «Нормально...»

Сегодня субботник, идут за город рыть осушительные канавы. Люська шагает со всеми, по-боевому держит лопату на плече, поет задорные песни.

Ерошка отрывается от группы. Ноги у него, как у аиста. Где другому три шага — ему один. Рядом с ним — та, черноволосая, чья коса тогда улеглась на Ерошкины вихры, чуть носами не стукались над учебником. «Аистиха» она тоже вышагивает, хотя и стараться приходится. Костюмчик фирмовый, уголок косынки вьется, а коса – чик, нет косы, не модно. Но и так красиво, волосы блестящей волной колышутся на плечах.

Поворот головы — взгляд, поворот – взгляд, к ней, ее — к нему, смеются, что-то громко обсуждают. Улыбка Ерошки между ними – солнечным зайчиком. Обо всем забыли. Вольно шагается но лугу. Земля торфяная, черная. Пружинит. Как на луговой дорожке к их лесному озеру.

Люська останавливается. Толпа протекает мимо, заслоняет «аиста с аистихой».

Чей-то голос вскользь:

— Ты что?

— Идите, догоню.

Не может она больше вприпрыжку следом бежать, выпрашивать — оглянись, Ерошка, вспомни. С тобой рядом — бабочка, смахнет пыльцу — голенькая. Лесное озеро сзади, глубокое, надежное.

Завихрился Ерошка. Нужно ему это — чтоб красивая, заметная бабочка рядом. А Люська не умеет быть заметной. И не сумеет. Но прилюдно такой несчастной она не будет. Ненавидит тех, кто пускает слюни, вымаливает сочувствие и жалость.

Кто-то остановился (не Ерошка!), махнул ей — догоняй.

И догнала, и кидала землю, забыв, что кидает, для чего: наклон — усилие — взмах, наклон —усилие — взмах. Кто- то сдерживал: не надрывайся, норму накинут, кто-то подхваливал. А ее уже не было здесь. «Освобождаю тебя, Ерошка. Оглядись, примерься к жизни. Может, и в самом деле я — не всерьез?»

Домой уехала в тот же вечер. Ничего с собой не взяла, чтоб расспросов не было. За вещами и документами поехала мама.

Родителей убедила. Папа заранее знал — политех не по ней. Одного не знал: с Ерошкой одолела бы.

Мама догадывалась об истинном.

Ей сказала:

— Если появится... меня дома нет.

Имя произнести не смогла. Но маме — и не надо, знала — кто.

А он и не появился. На зимних каникулах уехал в горы на турбазу.

Ей, конечно, рассказали. Собрались одноклассники на вечер в школу. И она пошла. Уже смогла бы его увидеть. Спокойно. Как он хотел.

Уехал... Значит — нее. Теперь уже навсегда.

Динь-дон! Колыхнулось пространство.

— Что же ты меня не пускаешь, Люська?

Фотоаппарат через плечо, улыбка пригасла неуверенно и снова во всю ширь, радостная. Что особенного: школьный товарищ в гости пришел.

Мама выглянула в коридор, да так и застыла.

Притворись же, мама, притворись: слова пустые, улыбки, чтоб не задеть серьезностью, чтоб не стало ему вдруг неловко.

Мама спохватывается, в ответ на улыбку — улыбка, оттесняет дочку от двери, посылает переодеться: неприлично гостей в халате принимать. Приглашает Ерошку в комнату, заводит светскую беседу.

Сколько же времени прошло? Всего-то год? Возмужал, загорел. В стройотряде был? Это хорошо. Полезно. Фотоаппарат купил? Тоже славно. На свои покупать — не на родительские, уважение к себе — штука нужная. А Людмила- то наша зиму поработала и в МГУ поступила. Собеседование прошла, пятерку получила. Передохнет — и поедет. Общежитие хорошее. Как твоя мама, сестра?

Люське слышен их разговор. Мысленно репетирует, как войдет в комнату, присоединится с такой же легкой улыбкой.

Глянула на себя в зеркало. Нет, улыбка не получится. Да она и раньше не очень-то улыбчивой была. Легче — нейтральное лицо. Взгляд — вскользь, не задерживаясь.

Пыталась вспомнить черты его лица — не получалось. Улыбка, чистый влажный запах. Руки вымоешь, к щекам приложишь — защемит отдаленно, всплывет — Ерошка. Остальное ускользнуло за боль, растерянность. Все усилия на одно: забыть, высвободиться. После того осеннего дня у озера, когда все еще трепыхалась на острие, к озеру не ходила. Нет больше лесного озера. Иссякло.

«Динь-дон! — я здесь. Так просто, безмятежно, с улыбкой.

Принимай, Люська, ты ведь уже выздоровела. Иначе и быть не может: время – лекарь».

Лоджии, в которой они на бабкином кожухе печенюшки поглощали и в небе вместе парили, он и не намечает. А дверь туда распахнута на всю ширь...

Разглядывает ее дружески, не скрывая любопытства. Пусть. Это она спокойно примет. Нога на ногу, шлепанец на одном пальце покачивается, платье – самое домашнее. Лучше она не стала. Лучше и не будет. Какая есть.

Мама тащит какие-то фрукты, наливает сок — свой, из дачного винограда. Воздух загустел от всеобщей любезности. Словами набит, как пакет макаронами. В лоджию бы, на воздух, из этой фальши. Перетерпи, Люська, смоги!

— Пойдем, Люська, погуляем. Сфотографируемся на память.

Можно и пойти. Что изменится?

В том же платье, старые босоножки.

Мама укоризненно смотрит — ты что?

Но Люська независимо вперед, не оглядываясь.

Он идет следом, что-то веселое рассказывает о стройотрядовской жизни. Ерошка — молодец. Молчать — нельзя. Слова всегда выручали его. А она ни одного словечка не смогла бы сейчас отыскать.

Они уже на окраине. Куда это он ее направляет?

Снова торфяная дорога под ногами. Нет, туда она ею не пустит. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку II но ы роге этой пройти снова нельзя.

Остановилась, глянула в упор. Он, понимая, мигнул растерянно. Рот еще в улыбке, а в глазах – человек с поднятыми руками: пощади, сдаюсь, виноват.

Он покорно пошел за нею к огороду, снова начал рассказывать разные истории, фотографировать ее то у школы, то на скамейке в парке, у дома. На память, Люська!

Как бы сказать ему, чтоб не называл ее так? Невыносимо — Люська да Люська! Она ведь его никак не называет.

Называть нужно по-новому. По-прежнему — нельзя. А нового имени нет. Да и вообще, что за имя — Ерошка?

Когда она из политеха сбежала, отец называл ее только Людмилой. Сердито. Потом привык, и уже уважительно, как со взрослой, работающей, не испугавшейся беды — Людмила. Мама — ласковей, смягчая, то Милой, то Людой. Люськи в их доме не стало.

«Перестань называть меня Люськой! Вслух не попросишь, сам — не понимает».

— Фотографии сделаю сегодня же, завтра принесу. Ладно, Люська?

Она неопределенно машет: приноси, если хочешь. Но совсем не обязательно.

Лоджия для нее уже давно, с той самой весны, стала только чем-то вроде кладовки, где в бабушкин сундук прячутся банки с домашними компотами. Закутанные в теплое одеяло, и зиму выдерживают. Да цветы туда мама выносит из комнат на лето.

А сегодня, когда отправились родители спать (отцу мама о Ерохе — ни слова), вытащила Люська бабушкин кожух из того же сундука, расстелила в лоджии, легла на спину, под голову — руки.

Теперь — молено. Теперь — никого.

Небо колышется: близко-далеко, близко-далеко. Звезды кружатся, влекут в бездну. Сердце замерло. Канула Люська в космос, заледенела, рассыпалась.

...Снова звезда замерцала. Теплом налились руки, тепло подступило к глазам. Живи, Люська, на теплой земле. Что — звезда, что — космос? Придет время — улетишь, испаришься.

Ну, зачем ты явился, Ерошка?

Знать бы — зачем...

И что только поэты напридумывали про любовь? Вьется перед каждым собственная тропа, мчишься по ней и вдруг трах! — налетел кто-то так же слепо, потом разглядишь — кто, когда все шарики-колесики раскатились, неизвестно куда. То ли потрешь синяки, поулыбаешься смущенно, ручкой помаешь почти дружески: прощай, извини, жизнь продолжается… Или так, как она –

сковало болью, шевельнуться не можешь. Подталкивают родители, инерция, обстоятельства, и начинаешь передвигаться в заданном направлении. А зайчики из осколков зеркала смеются над тобой: что, вляпалась?

Душа – на костылях, каждый шажок с усилием, над маленькой кочкой раздумываешь: одолеешь или нет? Может, и вообще не стоит одолевать? Счастливой-то все равно не быть.

Вспомнился яркий солнечный спортивный праздник. Почему-то долго не пускали на стадион, а они должны были выступать. Белые футболки с эмблемами, юбочки — голубые колокольчики, в руках — шары.

Распахнули ворота.

Мчались лавиной, перепрыгивали через сиденья. Одна девочка сорвалась в проход. Захваченная порывом, просто не заметила его. Праздник для нее закончился. Ликовали оркестры, взлетали в небо розовые шары. Для других...

Почему именно сейчас вспомнилась та девочка? Может, всегда есть две возможности: смотришь вверх — и звезды кружатся, а если — вниз? Прыгнуть — и нет тебя. Девятый этаж. Лучше, чем всю жизнь на костылях.

Не хочу быть несчастной! Не буду несчастной! Уехать бы поскорей.

Не приходи больше... Ероха.

Спала — не спала, а глаза вместе с рассветом открылись. Первая мысль о радости Ерошка придет. Вторая – зачем?

Все утро эти два молоточка у виска: придет – зачем?

Дела, которые обычно на все утро растягивала, за минуты переделала. Глаза — то на дверь, то на часы. Вдруг не утром, а вечером явится? Вдруг проявителя, закрепителя не оказалось под рукой? Дня — не прожить.

— Мама, па пляж пойду.

Два раза обошла водоем, выискивая местечко, чтоб не сразу ее найти можно было, но все же — можно. Полотенце на голову, для глаз — щель. Разгляди теперь, в купальниках все одинаковы, от пляжных тел рябит в глазах.

А вот и «аист» вышагивает, осторожно переставляет длинные ноги, высматривает. Дважды мимо прошел — не заметил.

Полотенце с головы не сняла — почувствуй! Нога его почти у самых глаз на песок стала. Джинсики закатаны, из сабо— тонкая щиколотка с покрасневшей, натертой косточкой. Люська дрогнул тронуть, остановить. Сдержалась, не тронула, не окликнула.

Ушагал...

Откинула полотенце, перевернулась на спину, солнце сквозь веки прихлопнуло желтым, слизнул язык соленое со щеки.

— Люська! Ты давно здесь? Три раза вокруг обошел — не увидел.

Раньше обязательно сказал бы: «Притаилась, как лесное озеро». Не решается так ее называть или забыл?

Разговор как разговор: да, фотографии отпечатал, но еще не высохли. Хочешь на лодке? Идем.

Весла с оглядкой в воду: не ударить бы кого, тесно в этом искусственном водоеме.

Хочешь мороженого? На ладошке, как у волшебника, четыре эскимо.

Хочешь есть? И они уже за столиком в висящем над водой кафе, густая зеленая вода смеется — ну что?

И потом уже, далеко за полночь, когда милиционер, вежливо козырнув, согнал их со скамеечки в парке: «Извините, пора на квартиру!» — и они, смеясь, бродили по улицам, вдруг, как на острие иголочки, вопрос:

— А ты... ты никого не любила больше?

Мимоходом задан — готовился давно.

А она — не ответит. Весь день — как в мареве. Ни о ком, ни о прошлом, ни о будущем ни единой мысли. Пусть этот день так и закончится. Вместе – и все.

Шла, шла, безнадежная пустыня, тонула и песках. И вдруг, неожиданно, — влага, капля за каплей. Закрыть глаза, пить, не видеть, не думать – откуда, зачем.

Крепко спит Люська. Выздоравливает. Не добудиться солнцу. А уж оно высоко. Расположилось в комнате, набросило на Люську золотой покрои, ласково греет, смахнув простыню на пол. Но сне тепло и легко. Не хочется просыпаться.

Мама облачком склонится над постелью, уйдет — и снова золотое тепло баюкает Люську, не выпускает из сна.

Мама садится на край постели. Первая, с пробуждением, мысль: Ерошка пришел? Но лицо мамы неулыбчиво, глаза пытливо, с болью всматриваются в лицо Люськи. Никогда мама так не разглядывала ее, никогда с таким открытым сочувствием.

Ускользает золотое покрывало. Зябко под простыней, которую накинула мама. Неужели она будет упрекать? Неужели ничего не поняла?

Люська прижимает мамину ладонь к своей щеке, прячется за закрытые веки от ее странного взгляда. «Я снова счастлива, понимаешь, мама?»

— Не знаю, Людочка, как тебе сказать... Но лучше сразу... Вчера встретила его мать. Радостная такая. Он-то на свадьбу их приглашать приехал!

— Какую свадьбу? не понимает Люська.

Мама гладит ее по голове, говорит торопливо, без пауз, глаза требуют — смоги!

— С в о ю свадьбу. Невеста с ним учится. Родители там же живут. Машина, дача, все как полагается для современного счастья. Молодым квартира отдельная приготовлена. Видно, продался твой дружок за барахло.

— Может, полюбил ее, — выдавливает Люська мертвые слова.

— Зачем же он сюда приходил?

В тот же день улетела Люська с родителями к морю.

Влаги — целый океан. А она снова грузнет в горячем песке, вокруг — пустыня. Оазиса больше не будет.

Динь-дон!

Сколько же раз может жизнь одинаково испытывать?

Да нет, не Ерошка это — Ерофей Иванович, уже с некоторым намеком на солидность, в отличном костюме и даже с усами. Все как полагается для перспективного благополучного человека.

Улыбки нет: усы прихлопнули. И детской растерянности тоже нет.

Сказал с облегчением:

— Я так и подумал — откроешь сама.

Он весь нацелен на откровенность. Никаких полутонов не будет: пришел за нею. Возьмет за руку и поведет с собой. И оглянуться не позволит.

Шаг назад — от него. Разве он не видит? Даже платье, густо собранное у кокетки па груди, уже не скрывает. Да и что скрывать? Все нормально: она — жена, будет матерью. У него ведь тоже дочка есть. Не хочет Люська о нем знать — все равно знает. Одноклассники по цепочке передают.

Повернулась спиной, пошла в комнату, бросила через плечо:

— Заходи!

Дома — никого. Муж с родителями в саду. И она собиралась с ними. Что-то удержало. Захотелось побыть одной.

Здесь не была с тех пор. В этом доме, в этом городе, где сплетаются тропинки из детства.

Нет больше детства, как нет и девочки Люськи. Теперь Людмила Павловна. Замужняя женщина, аспирантка МГУ...

Почему ее не убедили пойти в сад со всеми? Настаивать муж не умел.

— Ничего, скоро появится главный командир, а пока что капризничай, позволяется. — это мама шутит. Счастлива за дочку. Гордится.

Смоги, Люська! Смогла…

Мама уговаривала, плакала, гладила:

— Выходи, Лелюшка, выходи. Все забудется. Не вековать же одной. Надежный человек, поверь мне. Добрый. Главное это для семейной жизни. Поймет, пожалеет. Не противный же он тебе, а?

— Что ты, мама, зачем бы я его с вами знакомила? Ты права: добрый он, надежно мне с ним, спрятаться хочется.

— Вот и прячься. По дружбе-то браки счастливее. По любви выскакивают — толку-то.

А ему — рассказать?

— Не рассказывала бы лучше. Зачем ворошить?

Рассказала. Не удивился — догадывался. Это естественно, закономерно: в юности все любят, да редко — на всю жизнь.

— Почему?

— Жалеть еще не обучены. Беречь.

Он — старше, слова его успокаивают, умиротворяют: первая любовь — недолговечна, значит, бывает и вторая любовь?

— Деваться мне на этой земле некуда, только к тебе. Не обидно?

— Нет. Все будет хорошо, увидишь.

Так и было — хорошо. И родители любовью к ней переполнены. И он, муж. Просто купалась в любви. Дочка или сын уже на волю просится, кулачками изнутри постукивает — к вам хочу!

Динь-дон!

— Заходи!

Между креслами — журнальный столик. Разглядываю! друг друга, узнают. Не стоит притворяться.

— Улыбка твоя — где?

— Съели. — Лицо осветляется — попытка улыбнуться.

— Кто?

—Обстоятельства.

— Зачем ты тогда приходил, Ерошка?

— Проверить, могу без тебя или нет.

— Проверил?

— Проверил. Тогда думал — могу. Думал, все настоящее — впереди, а это вроде обязательной детской болезни. Переболит — дальше живи.

Хочется Люське ноги подобрать, сжаться в кресле, лицо руками закрыть — защититься. Но живое внутри не пускает, требует сидеть вольготно, чтоб дышалось ему, удобно было. Брыкнуло сердито — не забывай!

Почему только ей должно быть больно? Пусть и ему, откровенность за откровенность. Кто ему дал право — прийти? И тогда, и теперь? Себя понять, проверить? А меня? Что бы она делала, не окажись у нее таких родителей? Не встреться добрый умный человек?

— Мама моя считает, что ты за барахло продался, а? — хлестнула вопросом.

Но он непоколебим. Может, ошиблась там, у дверей? Не за нею — исповедаться пришел, душу облегчить?

Соглашается:

— И от этого что-то было. Возможности моей семьи ты знаешь. А ее родители здорово помогали. Сразу решилось все, на что люди годы тратят: одежда, жилище...

— А дальше?

— Когда все это постоянно, стабильно, его перестаешь замечать. Зато лучше видишь, чего нет, без чего действительно ничего настоящего быть не может.— Взял ее руку мягко и сильно, прижался лбом. Отпустил, встал решительно.

— Собирайся, Люська, идем!

— Куда?

— Без тебя не могу. Живу задом наперед: люди в будущее нацеливаются, а я только назад смотрю, где ты была. Все осталось там, с тобой.

— Мальчик ты, Ерошка. Сядь!

Почему ей так легко? Впервые за все эти годы.

— Разве ты меня разлюбила?

— Я не знаю, что такое любовь. Раньше знала, теперь — нет. А ты — знаешь?

— Теперь — знаю. Любовь — это когда с тобой. Не верю, что разлюбила. Такое, как у нас, бывает раз в жизни.

— Да, Ерошка, раз. Скажем спасибо, что было. Только любовь — это не главное.

— Разве есть что-то главнее?

— Я тоже думала — нет. Теперь точно знаю — есть: доброта и великое человеческое сострадание. Иначе меня, может, и на свете не было бы, утонула бы в песке. Горячем.

— Каком песке, Люська, что ты говоришь?

— Тебе не понять. Если бы ты понимал, ты бы не пришел. Ни тогда, ни сейчас.

— А дальше как жить? От фальши задыхаться? Кто из-за этого счастливее станет: моя жена, твой муж? Имеет же человек право на ошибку!

— Имеет, Ерошка, имеет. Только не за счет других. Все было нашим. Теперь столько людей между нами. Им-то из-за чего страдать? — Положила руку себе на живот.— И — это...

— Твой ребенок — мой ребенок, твоя плоть и кровь.

— Не только моя. Каково другому будет, тебя не интересует? Нет, Ерошка, нет.

— Что же делать?

— Смириться. Это и есть большая доброта и большое человеческое сострадание.

— Значит, по следам Тани Лариной? У тебя всегда было в порядке с классикой.

— Но ведь это положительный образ, не правда ли? Прощай, Ерошка, скоро все наши вернутся, зачем им тебя видеть здесь? И не приходи больше. Настоящая любовь — когда любят просто так, ни за что. Любят — и все. Я не могу больше так любить.

Растерянный мальчик с игрушечными усами. Конечно, у всех есть право на ошибку. Но не все ошибки можно исправить. Эту — нельзя.

— Прощай, Ерошка.

— Прощай, лесное озеро.

Хорошо все же, что приходил. Освободил.

Когда открыла дверь и поняла, зачем пришел, испугалась — не сможет. Протянет он руку — и она протянет свою.

Смогла...

Для чего же человеку первая любовь, если она только — первая? Ожечь, закалить, предостеречь?

Почему же ты, первая, такая сильная и такая беспомощная?

Души несоизмеримы, сердца? Руби дерево по себе? А она явилась — не спросилась. Любишь — потому что любишь.

Что же такое — любовь? И почему все же не самая главная над всем? Иначе ушла бы она сегодня с усатым мальчиком Ерошкой, а там будь что будет!

Смоги, Люська!